



Вандушков.
Вена, 23 сентября 1924.

ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ БУЛГАКОВ — СОЗДАТЕЛЬ МУЗЕЕВ, ПИСЕМ И ИЗЫСКАННЫХ ПЬЕС

Впервые мы знакомим читателей с неизвестным ранее литературным творчеством секретаря Л.Н. Толстого, собирателя русской культуры в эмиграции Валентина Федоровича Булгакова (1886-1966). В России его труды до сих пор остаются без должного внимания. Хотя Булгаков и принадлежит к писателям, как принято говорить, «второго эшелона», но в литературе, и тем более в области идей, с которой тесно связана культурная история России, действуют иные законы. Налицо удивительная судьба человека, отстаивавшего в течение всей своей многотрудной жизни общечеловеческие и гражданские идеалы.

Булгаков оказался глубоко преданным делу Толстого. В писательской среде он стал известным благодаря дневнику, описывающему последний, возможно самый важный, предсмертный год Льва Толстого. В 10-20-е годы Валентин Федорович выходит на широкую стезю социальной работы. По поручению Толстовского общества в 1912-16 годах он занимается описанием огромной библиотеки великого классика в Ясной Поляне. И в это же время участвует в пацифистском движении, публикуя воззвания против войны, разразившейся в Европе. Затем возглавляет Государственный музей Л.Н. Толстого и одновременно становится главным хранителем толстовского Дома-музея в Хамовниках, в Москве (кстати, является инициатором его открытия).

Музейную работу Булгаков соединял с общественной деятельностью в «толстовском» духе. Когда в 1921-22 годах Поволжье охватил голод, Валентин Федорович был избран товарищем председателя Комитета по оказанию помощи голодающим. Оказавшись в вынужденной эмиграции за пределами СССР, в Чехословакии, он продолжает участвовать в социальных движениях. Его мировоззренческому идеалу отвечает учение Ганди об организованном мирном сопротивлении масс народа, известном как «непротivление злу насилieм». Булгаков вступает в ряды «Интернационала сопротивляющихся войне». Знакомится в 1924 году, будучи членом Совета Интернационала, с Роменом Ролланом и обменивается письмами с Альбертом Эйнштейном. В Праге на одном из больших собраний Международного союза примирения, на котором председательствовал В.Ф. Булгаков, с докладом выступал Рабиндранат Тагор. Эта встреча в значительной мере определила дальнейшую судьбу. От толстовского религиозного всемирения произошло почитание

Востока. Тагор — ключевая фигура, давшая впоследствии основание Булгакову говорить на равных с Н.К. Рерихом, обосновавшимся в Гималаях.

Самое грандиозное дело, позволившее в 30-е годы заговорить всем о миссии русской эмиграции, это учреждение Русского культурно-исторического музея в Збраславе, в окрестности Праги. Булгаков не только был радетелем самой мысли — основать первый музей русского зарубежья, но и собирателем, и хранителем этого музея. Благодаря нечеловеческим усилиям (Булгаков даже оказался в фашистском концлагере во время Второй мировой войны), национальное достояние было возвращено на родину. Осенью 1948 года Валентин Федорович с семьей возвратился в Советский Союз из эмиграции. Еще раньше в Москву прибыло богатейшее собрание материалов — 25 больших ящиков, — наименованное в Главном архивном управлении как «Архив Булгакова». Однако наиболее ценным несомненно явилось собрание картин русских художников, скульптуры, предметов русской старины, фотографий, книг — коллекция поступила в фонды Третьяковской галереи.

Начался новый этап в судьбе Булгакова. В 1949 году он назначается научным сотрудником Музея-усадьбы в Ясной Поляне, а в 1951-м — главным хранителем. В 50-е годы Булгаков подытоживает зарубежный период жизни. В своем литературном творчестве он осмысливает миссию русской эмиграции, пишет объемистые мемуары «Как прожита жизнь», составляющие тысячи печатных страниц. Эти воспоминания являются богатейшим источником сведений о русском рассеянии за рубежом.

В нашем журнале публикуется лишь малая часть наследия писателя. При этом нам хотелось познакомить общественность с разнообразными сторонами его творчества. Помимо главы из упомянутых мемуаров (в сокращении), которая посвящена Культурно-историческому музею в Праге, представлены краткая ранняя «Автобиография» Булгакова (1911) и пьеса «Цветок Небес» (1942). Первая, очень емкая и образная, по стилю напоминает эссе, на ней еще лежит отблеск толстовского влияния. Вторая, редкая по красоте и изысканности, навеяна сценами из древнекитайской жизни. К сожалению, за рамками этой публикации остается целый ряд драматических произведений — пьесы «На кресте величия» (1937), «Эдгар По» (1940) и «Рюрикович» (1940). Эпистолярное наследие представлено фрагментами из переписки В.Ф. Булгакова с Н.К. Рерихом (1936-47) и письмами Марии Франкфуртер к Булгакову (1930-34), в которых чувствуется живой пульс духовной Индии. Публикуемые материалы в основном хранятся в Фонде Булгакова в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), в Москве. В целом собрание писем достаточно велико, оно является собой срез культурной жизни русской эмиграции. Среди адресатов Булгакова — И.А. Бунин, А.М. Ремизов, М.И. Цветаева, Г.Д. Гребенщиков, Н.О. Лосский, Г.Н. Потанин. Со временем, когда будут написаны недостающие страницы истории нашего зарубежья, имя Валентина Федоровича Булгакова непременно займет на них достойное место.

Главный редактор

АВТОБИОГРАФИЯ

В.Ф. Булгаков

Сегодня я не могу сосредоточиться на чем-нибудь серьезном, ввиду того что нахожусь в состоянии ожидания, чем, наконец, разрешится неопределенность моего теперешнего положения. Ожидание кончится через день-два, когда я получу письма. Пока займусь поэтому тем, что вспомню кое-какие моменты из прошлого моей жизни. Кто знает, не будет ли для меня предстоящее испытание роковым? А если так, то вот я оставляю это друзьям.

Родился я в 1886 г., 13-го (число чертовой дюжины) ноября, в Кузнецке, Томской губернии. Милый, поэтический уголок! Твои горы, широкая, светлая, быстрая река, старинная каменная полуразвалившаяся крепость с пушками на горе над городом, обилие цветов, благодатный воздух, милые, простые обыватели — навсегда останутся в моей памяти. Были у меня милые товарищи детства (конечно, все теперь разбросались по разным местам) — скромные, сорванцы и умницы, не было только таких мечтателей, как я.

Мой отец, умерший, когда мне было 10 лет, был старый, давно уже вышедший после 35-летней службы в отставку чиновник. Самая должность, которую он занимал, теперь уже не существует: штатный смотритель училищ Кузнецкого и Бийского округов. Всегда бритое лицо (только перед смертью отец отпустил красивую седую бороду), высокий рост, плотность — то, что называется «крупная фигура», громкий голос с сохранившимся до конца дней «рассейским» (тамбовским) выговором, ум, уверенность в себе, независимость, старая веселость, честность, карты, полное неупотребление табаку, водки и всякого вина — вот мой отец. Вероятно, как чиновник он был тщеславен. В царские дни он непременно, одев ордена и мундир со шпагой, в треуголке, ездил к обедне в собор. Часто наблюдая этот торжественный туалет отца, мы, дети, как-то обратились к нему с вопросом, за что ему дали ордена (у него их было три, с Владимиром 4-й степени, и медаль). «А вот послужите, как я, — отвечал отец, застегивая шитый воротник и подняв бритый подбородок кверху, — и вам дадут».

И мы чувствовали почтение к его неизвестным нам заслугам.

Про службу отца хорошего знаю то, что он безусловно не брал взяток, а в его время взятки составляли, разумеется, тоже «бытовое явление», — а плохого знаю то, что отец прибегал к поркам учеников розгами, тоже еще

существовавшими в его время, делая это ничтоже сумняшеся, с большим (может быть, и жестоким) добродушием и веря в их пользу.

Слышал я и о других хороших и дурных сторонах характера отца и сам наблюдал их, но подробно сейчас не чувствую необходимости описывать их.

Умер отец 72-х лет в чине коллежского асессора лет через пятнадцать после отставки. Скажу еще про него, что он окончил Тамбовскую духовную семинарию. И еще необходимо добавить вот что. Отец, по-видимому, много читал. Из его книг, потом утерянных, я помню 2 тома «Истории цивилизации в Англии» Бокля, несколько томов Дарвина, в том числе «Происхождение видов», «Прирученные животные и возделанные растения», чью-то «Историю инквизиции» и др. Поля всех этих книг были испещрены собственноручными замечаниями отца. На полях «Истории инквизиции» помню ругательства по адресу католического духовенства. Отец вообще очень не любил попов. Вместе с книгами после отца осталось до десятка толстых переплетенных его рукописей, с заглавиями: «Логика», «Онтология», «Философия» и пр. Вероятно, это были записки лекций его семинарских преподавателей. В детстве я с братьями употреблял эти рукописи для засушивания растений. Кстати, еще скажу, что в аттестате об окончании семинарии у отца лучшие отметки стоят по русскому языку и философии. Надо полагать, что для нашего Кузнецка умственный багаж отца был очень значителен.

Происходил отец из духовного сословия. Отец и дед его были священниками. Его мать была дочерью протоиерея. Один мой двоюродный брат, сын брата отца, священника же, Дмитрий — архиерей, в Тамбовской, кажется, губернии.

Моей матери было 20 лет, когда отец шестидесятилетним стариком женился на ней. Женился он третьим браком. От первых двух жен оставались у него две дочери и сын. Я был первенцем моей матери.

Она была дочь крестьянина села Коурака, Кузнецкого уезда, Исакова, служившего когда-то рядовым в лейб-гвардии Гренадерском полку и, если не ошибаюсь, участвовавшего в одном из турецких походов. Мать ее была дочерью старообрядческого, из секты поморов, начетчика Михаила Осиповича Сизева, которого я сам еще застал в Коураке столетним стариком и который только недавно умер, кажется, 106 лет от роду. Он все мечтал видеть меня и братьев мировыми судьями или, по крайней мере, вообще видными чиновниками, хотя был очень умен, добр и даже по-своему не невежда. Училась моя мать в Томской гимназии и назначена была учительницей в Кузнецкое приходское училище. Занималась обучением маленьких кузнецан только до замужества, с год. И посейчас она здравствует в Томске. Как мне приступить к ее характеристике? Если я назову ее умной, благородной, деликатной, это все будет правдой, но все будет неполно. Она, при всей своей большой скромности, — тонко развитая и глубокая натура, вследствие того сильного влияния, которое, при ее чуткости, оказывали на нее жизненные испытания. Очень начитанная, особенно по русской литературе, которую любит и знанием которой иногда очень гордится.

Я знаю, что нас, детей, она любила (меня, по-видимому, особенно), но никогда в отношениях ее к нам не было слащавой нежности. Нам уже лет с 10-ти предоставлена была почти полная (если не полная) независимость. В матери я всегда встречал по отношению к себе прежде всего — доверчивость. Если не к отдельным моим поступкам (особенно последнего времени), то к их нравственной самооценности.

Кузнецк промелькнул веселой страницей, на которой рассказано о беззаботном и свободном детстве, о ранней юности с гимназическими каникулами, веселыми любительскими спектаклями (я принимал в устройстве их самое живое участие и пользовался большим успехом как исполнитель) и т.д. Еще один важный штрих из истории детства: четыре года я «подавал кадило» и вообще прислуживал в алтаре местной Богородской церкви (где венчался первым браком Достоевский). Постоянное присутствие в алтаре, непропускание ни одной службы, священник Виссарион — питали во мне религиозность и мечтательность.

Забыл еще сказать про Кузнецк, что там у нас был хороший дом, большое место, с флигелем, огородами, амбарами и всеми хозяйственными службами, пасека около города, ульев в 200, прекрасно обставленная, доходная, которой занимался отец. Отец слыл гостеприимным. Я помню у нас постоянных гостей, в обычное время почти ежедневно небольшими группами за картами с винами, закусками и ужином, в именинные дни — битком набивающими гостиную, зал, столовую, кабинет отца. Помню многочисленных визитеров на Рождестве, в Новый Год и на Пасхе, а также, в качестве визитеров и гостей, приезжих томских высших чиновников и архиерея. Помню святочные маскарады, шумные танцы, многочисленные маски в зале, на розовом, из небольших кусков дерева, под паркет, полу. Вот отец выходит на середину, в халате, пляшет и громко подпевает улыбающимся старым ртом:

Все кости болят,
Все суставы говорят!..

Томск. Гимназия. Новые товарищи. Поездка на Алтай. Знакомство с Григорием Николаевичем Потаниным, известным путешественником по Монголии и ученым. Знакомство это мое продолжалось года три и связано с увлечением моим, кажется, не совсем сознательным и искренним, этнографией. Я записывал в деревнях сказки, песни, читал литературу по фольклору, которой снабжал меня Потанин. Сказки, записанные мною, очень хорошие и большие, всего 28, напечатаны были в Известиях Красноярского Подотдела Географического Общества, под редакцией Потанина. Были еще заметки по этнографии в других изданиях. В Томске вообще я делаюсь причастным к газетной работе. Не буду указывать всех глупостей, которые я писал и старался печатать и печатал в бытность мою гимназистом. Скажу только, как о более путном, о статье «Ф.М. Достоевский в Кузнецке», где впервые собраны мною все относящиеся сюда материалы, и о заметке, которая мне немножко и теперь нравится, — «Несколько слов по поводу картины Вучичевича

«Домик Достоевского в Кузнецке». До какой же глупости я доходил в моих тогдашних, с позволения сказать, литературных занятиях, явствует из того, что, будучи гимназистом 8-го класса, я издавал в Томске еженедельный журнал «Томский Театрал». Так как мне, вместо узаконенных 25 лет, было только 19, то ответственным редактором журнала была показана моя мать. Вышло всего «Томского Театрала» три номера. Я в общем потерпел на них 45 рублей убытка, моих личных средств, заработанных уроками. 30 рублей я долго был должен одному знакомому и выплатил их, уже сделавшись студентом. Журнал прекратился, потому что, с одной стороны, мало покупался, с другой — мне нужно было держать выпускные экзамены в гимназии. Кончил я гимназию с золотой медалью.

Гимназия... Право, воспоминание о времени, проведенном в ней, скорее мне приятно, чем неприятно. Правда, что особенно было мне дорого в ней, так это — доброе товарищество. Уроки интересны мне были мало, я больше читал «посторонние» книги (кстати, в раннем детстве я отличался особенной страстью к чтению и читал, кажется, больше, чем когда бы то ни было потом); все-таки обычно успевал. Вот тоже noblesse oblige.*

Мне хочется сказать про себя, что гимназистом я был «передовым»: я писал сатирические стихи на учителей, доставлявшие в свое время товарищам видимое удовольствие (из них надо отметить поэму в песнях «Ревизор», написанную в 7 классе), хорошо учился и мог поэтому помогать другим, пел звучным тенором в гимназическом хоре, а в перемены — «запрещенные» и «незапрещенные» песни в классе, издавал гимназический журнал, участвовал в качестве распорядителя в гимназических спектаклях и концертах, имел неоднократные стычки с начальством, иногда очень с внешней стороны эффективные, благодаря своему своенравному тогда характеру, и т.д. Жил я все время, 8 лет, в пансионе гимназии. Пансион сравнительно был очень хорош. Я говорю «хорош», но, конечно, я говорю о нем на своем старом языке. Под словом «хорош» я разумею только благополучие внешнее, а внутреннего содержания в этом учреждении, разумеется, не было, если не считать скверного, которое и было основой.

К концу гимназического курса мне стало все-таки тяжело от бессмысленности того дела, которым я занимался. Бессмысленность эту я все больше и больше понимал. Скрашивались же для меня последние годы пребывания в гимназии тесной дружбой с одним из моих товарищей по классу, переведшимся в томскую гимназию из Юрьева. Он был очень даровитый музыкант, также и вся его семья очень музыкальна, и сближение с ним открыло для меня новый источник большого духовного наслаждения — музыку.

В 1906 году я поступил в университет. Что я представлял при поступлении в него? Какова была моя внутренняя жизнь в детстве и ранней юности?

Я упоминал, что сначала я был очень религиозен, в совершенно православном духе. Гимназистом 3 или 4 класса, когда мне было лет 13 или 14, я

* положение обязывает (фр.)

вместе со своим старшим 15-тилетним братом и еще одним гимназистом лет 16-ти ходил пешком на богомолье верст за 135, из Кузнецка в село Тогул, по дороге на Барнаул, через тайгу и Уксунайские горы. Столько же, сколько богомолье, это было и *partie de plaisir*,* и ботаническая экскурсия, так как я собирал по дороге растения, но все же конечной нашей целью было видеть таинственного монаха, поселившегося в горах, вырытые им пещеры и святой колодезь, в котором будто бы благочестивые люди могли видеть Богородицу и святых. Мы с большими лишениями (на черном хлебе, в дождь, холод и слякоть), но благополучно сделали наш путь, видели монаха, пещеры, святых в колодезе не видали (мы, впрочем, так этого и ожидали, и не верили в это серьезно) и затем вернулись благополучно пешком же домой. Нас воспитывали так, что все это было возможно. Помню, как мне хотелось в ту ночь, которую мы провели в деревне около колодца и пещер, провести в сырых и темных пещерах вместе с монахом и промолиться всю ночь. Но мне стыдно было моих спутников, чтобы попросить монаха об этом.

В гимназии под влиянием некоторых товарищей, приносивших в пансион «запрещенные» книги (в том числе, помню, и Толстого, хотя тогда я ничего из него, кроме беллетристики, не читал), религиозность эта понемногу рушилась. Еще до этого я, будучи православным, очень мучился (не могу употребить здесь другого слова) над вопросами о существовании Бога и о бессмертии души. Церковное толкование их — Троица, ад и рай — переставало уже удовлетворять меня. Поделиться мыслями мне было совсем не с кем. Только позже, когда от православия не осталось уже следов, я натолкнулся на очень серьезного учителя словесности и воспитателя пансиона, христианина в духе Вл. Соловьева. Но тогда его речи производили на меня уже мало впечатления. Единственно, где я находил отклик своим душевным запросам, это — в романах Достоевского: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» (Кириллов в «Бесах»!). Помню, я тогда страстно жаждал найти смысл своей жизни, архимедову точку опоры, и уверял от всего сердца самого себя, что если бы у меня был ясный, понятный смысл жизни, если бы я точно знал, для чего я живу, я бы пожертвовал всем, чтобы жить согласно ему! Скажу еще, что в тот период я не подозревал ничего о существовании философской литературы, целой науки философии, занимающейся теми вопросами, которые волновали меня. Не было никого (так неудачно сложились обстоятельства), кто бы указал мне, что за содержание этой странной науки «философии», название которой я все-таки слышал. Я случайно прочел книгу Леббока «Радости жизни», и каким она была для меня откровением! Как, разве пишут и, оказывается, много писали по тем вопросам, над решением которых я тщетно один бился?! Товарищи-пансионеры, как я говорил, разрушили во мне церковную веру. Достоевский, в конце концов, ничего не дал, с той путаницей во взглядах, которая отличала его самого. Он только со страстной силой ставил вопросы, но не разрешал их. Леббок только раздразнил. Чего-нибудь

* увеселительная прогулка (фр.)

нужного и важного для меня и хорошего я еще не успел прочесть. Да и не знал, за что же мне взяться. Евангелие я прочел в самом раннем детстве и после, как раз прочтенную книгу, не считал нужным перечитывать. Тогда я остался без веры. Был, между прочим, большим кощунственником по отношению к церкви. Гуляя зимой, я заходил в часовню с почитаемой чудотворной иконой с единственной целью, чтобы погреться. Чтобы не обращать на себя внимание прислужника, я все-таки крестился, подходил к иконе, но не прикладывался, а высовывал иконе язык, наклонившись к ней, и затем преспокойно отворачивался, внутренне заливаясь смехом. Или у нас в пансионе, в спальне, когда никого не было в комнате, подходил к иконе Христа и говорил: «Молился я тебе, плакал я перед тобой, а ты мне не помог. Эх ты, дурашный, дурашный!» И я щелкал его по носу. Церковь, Христос, Бог — все тогда перемешивалось в моем понимании. Церковь? — Ерунда! Бог? — Чуть! Христос? — Глупость!

Вдруг однажды я узнаю от своего друга — музыканта, что его отец, профессор университета, читает книги о Боге и серьезно рассуждает о Боге, и что есть взрослые люди, и не только взрослые, но даже образованные, которые верят, что Бог есть, и что вообще легко и скоро решать вопрос о Боге нельзя. Для меня это было откровением, которое меня прямо поразило. Старые вопросы снова с силой поднялись в моей душе. Появилась и надежда. На что? На выяснение смысла жизни. Этот же друг, более сведущий в этом вопросе ввиду интеллигентности своих родителей, открыл мне и вторую сферу духовной деятельности — философию. Как на ребяческую мечту, укажу на явившееся у нас с ним около того времени намерение — «когда вырастем», издавать журнал «Философия и искусство».

Наступил 1905 год. Я не имел к этому времени ровно никаких определенных взглядов. Кроме того, живя в пансионе и мало имея сношений с внешним миром, я ничего ровно не предполагал о готовившемся движении. Когда в октябре, во время занятий в гимназии, к ней подошла кучка забастовавших реалистов с красным знаменем и, крича и махая руками, приглашали нас, гимназистов, бросить занятия и присоединиться к демонстрации, — я, глядя из второго этажа в окно, почувствовал такими жалкими и смешными их маленькие фигурки, что невольно, тотчас, обернувшись к товарищам, стал громко выражать эти свои чувства. И что же, на многих лицах я увидел смущение, многие отвернулись. Это было для меня несколько неожиданно, но еще неожиданнее было, когда один из товарищей вынул из-за пазухи прокламацию и дрожащим немного голосом, но громко и убежденно стал читать ее, приглашая товарищей примкнуть к всеобщему российскому движению (какое всероссийское движение! Правда, я что-то слышал о нем, но думал, что это не особенно всерьез) и к забастовавшим реалистам. И, что было всего неожиданнее для меня, добрая половина класса последовала за вышедшим вон чтецом прокламации на улицу.

Потом я разобрался, в чем дело. «Освободительному движению» я стал сочувствовать, но к революционерам никогда не мог примкнуть. Гимназисты-

революционеры мне были смешны и отвратительны: как сметь браться за переустройство государства, имея шестнадцать лет от роду, ничего не читая, ничего не зная, не развившись и не умея даже уроки-то как следует приготовить?!

На взрослых деятелей «освободительной эпохи» мне тоже было смотреть странно и отвратительно: какое лицемерие — заботиться об освобождении народа, распинаться за обиженных и обездоленных и в то же время прекрасно одеваться, жить в просторных и удобных квартирах и получать по несколько тысяч жалованья! Не верил я «революционерам», считал их дело легкомыслием. К тому же я не представлял себе ясно той цели, которой они добиваются. (Оговорюсь здесь, что черносотенцем я никогда не был.) Только с объявлением манифеста началось мое сочувствие движению, но тоже очень осторожно, признать революционные убийства за полезные я никак не мог и в душе не находил для их оправдания поводов.

Помню, как отнесся я ко взгляду Льва Николаевича на революцию, тогда только что сделавшемуся известным и вызывавшему всеобщее возмущение. В местной газете была перепечатана откуда-то его статья по этому поводу. Я пробежал только первые строки ее с резким осуждением «освободительного движения». Мне показалось так скучно читать опровержение неопровержимого, что я только усмехнулся и, не дочитывая статьи, отложил номер газеты в сторону. Я даже не сердился на Льва Николаевича. Просто он меня совсем не задел.

О времени, предшествовавшем революции, именно о начале войны с Японией, со стыдом вспоминаю, что я увлекся тогда патриотизмом и при объявлении войны участвовал со многими другими гимназистами во всеобщей манифестации (правда, несколько искусственно подстроенной, так как нас, гимназистов, высылали на нее, отечески наставляя нас и советуя нам, а на деле заботясь только о своем благополучии и о наградах, начальство) и во все горло орал, бредя по улице, по выпавшему тогда глубокому снегу, «Боже, царя храни!»...

Как на одну из тогдашних попыток моих найти и иметь какое-нибудь руководство в жизни, укажу также на тайное общество с нижеследующими правилами (они сохранились у меня в старой записной книжке), основанное мною с двумя другими товарищами-пансионерами, когда я был еще в одном из младших классов гимназии.

Правила:

1. Уметь побеждать самого себя, побеждать свои желания.
2. Не говорить неправды, не обманывать, даже и шутя.
3. Не говорить про кого-либо дурно; если нам будут рассказывать что-нибудь дурное про человека, мы выслушаем и скоро забудем об этом; если кто-нибудь из членов общества заметит какой-нибудь поступок другого члена против правил, он должен доложить об этом председателю общества, — это не есть дурной поступок.

4. Никого ничем не обижать. Если кто будет просить нас о деле, несогласном с нашими правилами, мы должны разъяснить ему, что это против наших убеждений и что мы его просьбу исполнить не можем.

5. Отказаться от третьего блюда за обедом и вообще избегать излишнего.

6. Не лениться (хорошо готовить уроки, вставать по утрам не позже шести часов и др.).

7. Не зависеть от кого-либо, вообще не одоляться (уроки всегда готовить самому, задач не списывать, слова подбирать также самому, ничего ни у кого не просить).

8. На собрание члены должны являться; в случае же неявки кого-нибудь из членов по уважительной причине, ему посылается вопрос, который будет разрешаться на собрании, и он должен написать свое мнение.

9. Член общества, не исполняющий этих правил, увольняется из него по решению остальных членов.

10. Каждый член все, что касается общества, должен держать в тайне и на расспросы других отвечать фразой: право, ничего не могу сказать.

11. Исполнять просьбы других, если только они не идут против наших правил и, вообще, правил нравственности.

Позже было приписано:

12. Никогда не употреблять во зло физическую силу.

Я переписал «Правила» дословно. Составлены они были со всем, что в них есть наивного и очень серьезного, нами же троими. По-видимому, в большой степени они были реакцией против господствовавших в гимназии понятий. Общество наше просуществовало недолго. Оно распалось вследствие того, что двое других членов его из-за чего-то поссорились и один из них, в знак, должно быть, неуважения ко всему, что касается другого, стал есть за обедом третье, сладкое блюдо, не обращая никакого внимания на явное наше недоумение. Думаю, что все-таки затея наша была всем нам полезна, поскольку нам приходилось напрягать силы для борьбы со своими слабостями. Соединились же мы, должно быть, для взаимной поддержки.

Про свои гимназические годы я сказал бы, что много было, но ничего не стало, т.е. я остался со своей полной неопределенностью взглядов. Таким я и приехал в Москву. Привез еще с собой громадные надежды на университет, на московское общество, которое, по моим тогдашним понятиям, должно было быть совсем иным, чем такое. Меня обманули ожидания и насчет университета, и насчет московского общества, тем не менее именно в Москве я напал на настоящую дорогу. Здесь, в первый же год моего пребывания в университете, я полуслучайно прочел «Исповедь» Толстого, в которой подчеркнул массу фраз, совершенно согласных с моими взглядами, вернее — как бы предвосхитивших мои собственные, еще не бывшие осознанными до конца мысли. И вот с этого, с «Исповеди», что называется, и началось. Чем дальше я читал Толстого (прочел «В чем моя вера», «Так что же нам делать» и многое другое), тем больше я убеждался, что именно у него-то я и

найду столь долго и безуспешно разыскивавшееся мною решение вопроса о смысле жизни. А надо сказать, что университетская философия (я поступил на философское отделение историко-филологического факультета) ни на йоту не оправдала моих на нее великих упований; ее отвлеченные умствования и полная отчужденность от жизни были мне совершенно чужды. Я никак не мог увлечься той бесплодной умственной эквилибристикой, которой за приличное вознаграждение посвящают всю свою жизнь господа профессора. Да и вся система университетского преподавания была мне совсем не по душе. Формализм, сухость, отсутствие свободы, независимости духовного развития. Правда, как раз в год моего поступления была введена предметная система, но, право, на мой взгляд, это — только красивая одежда, прикрывающая безобразное ветхое, разрушающееся тело.

Да, ничего, ничего не нашел я в университете, что бы меня привлекло, захватило, заинтересовало. По крайней мере, в университете как таковом. Пожалуй, только лекции Ключевского по русской истории были исключением. Но какое отношение имели они к университету? Ключевский мог читать их и в частном помещении, просто как публичные лекции. Опять-таки, как и в гимназии, если что и было у меня дорогого в высшей школе, так это — товарищество.

Все реже и реже посещая лекции и практические занятия, все меньше и меньше отдавая времени чтению университетских учебников, я стал все больше увлекаться, в пределах того же университета, общественной деятельностью, если можно так выразиться о том, что я здесь разумею. Я был одним из учредителей Сибирского землячества при университете, кружка, преследовавшего цели: научную — изучение Сибири, и взаимопомощи. Был два года председателем землячества. На публичном вечере в память сибирского поэта Оммушевского читал доклад о его литературной деятельности. Через Сибирское же землячество поднял вопрос об организации чествования студенчеством Московского университета 80-летнего юбилея Л.Н. Толстого. Был товарищем председателя комитета по чествованию и избирался в депутацию из 5 человек от студенчества Московского университета для поднесения адреса Льву Николаевичу. (Ездить к нему, однако, не пришлось, т.к. Л.Н. отказался от приема депутации, и адрес отвез ему один студент, председатель комитета, небезызвестный литератор Н.Русов.) По моему предложению поставлена полка с книгами Льва Николаевича и его портретом в большом читальном зале библиотеки университета. На собрании в честь Толстого в богословской аудитории я прочел свои воспоминания о двух поездках к нему, которые я уже сделал тогда — 23 августа 1907 и 10 апреля 1908 года. Между прочим, среди участников вечера были Мережковский, Н.В. Давыдов и приват-доцент Сакулин. Мережковский — маленький, щупленький, как цыпленок, с испорченными зубами, желтеющими у него во рту под усами при любезной широкой искусственной улыбке. Давыдов — с его старческой глупостью. Сакулин — с его заученным красноречием. На эстраде, среди почетной публики, сидели рядом ректор Мануилов и приват-доцент Кизиветтер, историк.

Обернувшись и сходя с кафедры по прочтении доклада, я встретил взором их фигуры: оба хлопали мне в ладоши. Тогда это очень меня обрадовало и польстило мне.

В день столетия со дня рождения Гоголя, 20 марта 1909 г., я хотел сказать на его могиле речь, не стесняясь и даже радуясь присутствию там «всей Москвы» (я прошел туда как корреспондент сибирских газет), но мне не дали. Тогда эту произнесенную речь я, под заглавием «Себе или Гоголю», отпечатал на 15 рублей в 500 экземпляров и довольно успешно распродал в Москве (по пятачку). В речи проводится мысль о нелепости почтения памяти великих людей постановкой им памятников и устройством церемоний над их могилами, с непременным поповским участием и затратой бешеных сумм.

Из других московских впечатлений, наиболее сильно затрагивавших меня, назову: собор Василия Блаженного, Девичье Поле, пианиста Гофмана, Художественный театр, репетиции симфонических концертов Филармонического общества и консерватории, певицу Оленину-д'Альгейм, мое репетиторство, уроки пения у Вишневецкой, начало моего вегетарианствования. Был я в первый же год жизни в Европейской России ненадолго в Петербурге, весной. Нева пленила меня. Очень гордился и был тронут, что хоть издали, хоть в бинокль видел со Стрелки краешек моря — Финский залив. В Петербурге познакомился я с А.Г. Достоевской, второй женой Ф.М. Достоевского, которая помнила меня по моей статье о жизни его в Кузнецке. Это была первая женщина, которой я поцеловал руку, вообще воспитанный так, что не был приучен к рукоцелованию.

С третьего года жизни в Москве я уже совершенно забросил занятия в университете, числился только формально студентом, сам же занялся новым делом: составлением систематического изложения мировоззрения Льва Николаевича. Работа эта была закончена мною через полтора года. Я все продолжал числиться студентом. Если бы не эта работа, я бы вышел из университета раньше, но мне хотелось закончить ее до призыва в солдаты.

Работа эта (я назвал ее тогда «Христианская этика. Систематические очерки мировоззрения Л.Н. Толстого») имела большое значение в моей жизни, даже внешнее значение, не говоря уже о том, что, занимаясь ею, я выяснил себе с большими или меньшими глубиной и разносторонностью мои собственные взгляды на жизнь. Кроме того, хотя она потом и была признана неудобной в цензурном отношении для напечатания теперь в России, тем не менее она сыграла для меня роль своего рода диссертации для получения нового звания и для вступления в новую должность: секретаря Л.Н. Толстого. По совету некоторых знакомых, я, переписав ее начисто, в декабре 1909 года поехал показать ее Льву Николаевичу. Кстати, мне случилось уже раньше писать о ней Льву Николаевичу: я просил у него некоторых дополнительных указаний по вопросам об образовании, и Л.Н. отвечал мне новой большой статьей, в форме письма, «О воспитании» (дата: 1 мая 1909 г.). Л.Н. мою работу прочел, в общем одобрил и, дав мне письмо, послал меня с ней к

В.Г. Черткову в Крекшино, под Москвой, имение Пашковых, где Чертков жил тогда, будучи выслан из Тульской губернии. Чертков же предложил мне остаться у него совсем, в качестве помощника в деле издания сочинений Льва Николаевича, распространения его взглядов и т.д., на что я, конечно, с радостью согласился. Не прожил я, однако, у Чертковых и 10 дней, как В.Г. решил (у бюрократов это называется «для пользы службы») перевести меня в Ясную Поляну (сначала — по соседству, в свое имение Телятенки) для помощи Л.Н. Толстому. И вот я пользовался этим неожиданным и великим счастьем — близкого общения со Львом Николаевичем — в течение почти года, до самого ухода его из Ясной Поляны. Проводил я и тело его до могилы. Как мне выразить здесь короткими словами все, что я пережил в этот прошедший, 1910-й, год? Дневник мой, веденный ежедневно за это время, печатается у Сытина в Москве и скоро выйдет. Недавно вышла у Сытина моя книжка «Жизнепонимание Льва Николаевича Толстого. Изложено в письмах, писавшихся и посылавшихся по его поручению».

С чем я вошел в Ясную Поляну и с чем вышел? С каким внутренним багажом?

Взглядами Льва Николаевича я увлекся сначала как анархическими и противоцерковными. Потом, вчитавшись в книги Льва Николаевича внимательно и прочитав их много во время работы над «Систематическими очерками», я увидел всю важность религиозной сущности учения Льва Николаевича и поразился тогда логической стройностью этого учения. Мы все — люди — дети Отца-Бога и должны стремиться к Его совершенству, исполняя Его волю. Вот — основа, из которой вытекает все: и анархизм, и противоцерковность, и взгляд на задачи науки и искусства. Словом — все остальное в мировоззрении Льва Николаевича. Я знал это, но еще не почувствовал всей душой, потому что не пережил. В Ясной, от непосредственного соприкосновения со Львом Николаевичем и со многими другими религиозными людьми, взгляд этот углубился во мне, вошел в мою плоть и кровь, сделался для меня единым источником света в жизни. «Не моя воля да будет, но Твоя; и не то, чего я хочу, но то, чего Ты хочешь; и не так, как я хочу, но так, как Ты хочешь!» «Господи, да будет воля Твоя!» Вот в чем для меня теперь весь катехизис жизни. Только бы мне не ослабеть душой и не забывать этого.

В смысле практического приближения к идеалу самосовершенствования и в смысле самого уяснения этого идеала очень сильно и благотворно влиял на меня Сергей Булыгин, двадцатидвухлетний юноша, сын близкого друга Льва Николаевича, соседнего помещика, очень глубокий, даровитый, прекрасной жизни и вообще необыкновенный человек. Это был второй мой друг, из молодых, столь же близкий, как томский (Анатолий Александров).

Забыл я еще досказать об университете. Я вышел из него, уже официально, в октябре прошлого, 1910 года. Перед выходом я прочел студентам (до 300 человек) реферат «О высшей школе и о науке», в котором разоблачал, сколько моих сил хватило, и университет, и университетскую науку. Он вызвал среди студентов известное сочувствие и интерес. По прочтении мною

реферата московский «Голос Студенчества» напечатал его, с сокращениями, на своих страницах. Несколько газет поместили отчеты о нем, и даже А. Столыпин в «Новом Времени» написал по поводу этого необыкновенного собрания в университете очень глупую заметку.

Теперь на дворе февраль, в воздухе — весна. Я живу у Чертковых в Телятенках. А в Томске, как третьего дня пишет мне мать, меня разыскивает полиция, чтобы привлечь к отбыванию воинской повинности, отсрочки по которой я лишился с выходом из университета. Конечно, в свое время, т.е. когда меня найдут, от повинности я откажусь. Вероятно, я на днях поеду сам в Томск. Получу только от мамы письмо с дополнительными сведениями, о котором она телеграфировала. Отказа жду спокойно и с радостью, даже, готов в этом признаться, — с большим интересом: как это все будет! Вместе с тем — и с покорностью воле Божией, потому что я знаю, что это, т.е. отказ, не шутка. Хочу быть в воле Божией.

Правда, у меня есть сейчас личные желания: это — уединиться, жить одному в маленьком домике, занимаясь ремеслом (переплетным) для питания тела и внутренним созерцанием и наблюдением людей со стороны — для питания души. Но если нужно Богу, судьбе, чтобы я был помещен в арестантские роты, да будет так. Когда не будет предъявлять ко мне противоречащего требования Высшая Воля, поистине Высшая Воля, тогда я выполню свои личные желания (поскольку они Высшей Воле не противоречат и сливаются с ней).

Вот — описание того, как я жил до этого дня. Не пропустил ли я чего из моей жизни? Может быть, скрыл важные события интимной жизни? Я готов еще сказать здесь, что я — не безукоризненной нравственной чистоты человек, что в моей жизни было тяжелое (описывать которое нет надобности). Но религиозность, та истинная религиозность, которая заставляет человека перенести сущность жизни из телесного существа в духовное, дала и даст мне силы справиться со всем этим. У меня есть точка опоры — вера в Бога. И с нею мне ничто не страшно, все победимо.

*Телятенки,
22 и 23 февраля 1911 г.*

РГАЛИ. Ф. 2226, оп. 1, д. 1316, л. 1-20.